

5. РЕВОЛЮЦИЯ



Г. ЧУЛКОВ

Красный призрак

Листки из дневника

Красный призрак коммунизма гуляет по
всей Европе.

*Обращение к немецким рабочим
Петроградского Совета рабочих
депутатов*

Не надо быть мистиком и религиозным человеком, чтобы признать связь и зависимость между явлениями повседневной материальной действительности и самыми высокими и таинственными началами духовной культуры. И если даже в грубой концепции «экономического материализма» мы находим попытку истолкования таких сложных событий, как жизнь и творчество Данта или религиозный пафос солдат-революционеров эпохи Кромвеля¹, то тем менее оснований отрицать эту связь и зависимость, руководствуясь иною философией истории, не столь наивно.

Теперь, когда, по загадочному и двусмысленному признанию Петроградского Совета Рабочих Депутатов, *красный призрак* коммунизма гуляет по всей Европе, уместно будет вспомнить, что предшествовало появлению этого призрака в плане европейской духовной культуры и, в частности, некоторые факты и события в духовной жизни России. Вот об этих последних мне хочется сказать несколько слов на страницах моего дневника по поводу книги Вячеслава Иванова «Родное и Вселенское» и статьи поэта Блока «Интеллигенция и Революция», напечатанной на столбцах одной «интернациональной» газеты².

Прошу извинить меня за вольность формы моего дневника, за то, что я попутно поделюсь с читателями некоторыми воспоминаниями.

Четырнадцать лет тому назад, вернувшись из дальних странствий³, попал я в тогдашний Петербург, и первый человек, с которым мне пришлось там встретиться, был Д. С. Мережковский. Помню я тот вечер в доме Д. С. Мережковского, когда я, полный еще впечатлений от встреч с такими людьми, как покойный шлиссельбуржец Мартынов, каторжанин Ионов, Шебагин, и с иными тогда еще молодыми революционерами⁴, которые ныне кажутся ветеранами революции, очутился в обществе тех, кого молва называла декадентами. Помню я, как подошел ко мне один уже не юный поэт, с злою улыбкою и добрыми глазами, и, намекая на появившуюся тогда мою статью «Светлеют дали», сказал насмешливо: «А по-моему, *они темнеют*»⁵. Это был самый последовательный и подлинный, самый умный и тонкий декадент, чья благоуханная лирика и загадочно-значительные повествования имеют непреходящее значение. О чем же говорили тогда в этом кружке декадентов? О революции.

Декадентство и революция! «Да ведь это все та же тема, только с другого конца», — думал я, вспоминая вещице слова Достоевского о «русских мальчиках» — о Боге и социализме⁶. Да ведь это все тот же бунт во имя утверждения личности, ее независимости, ее свободы: тут *социальное* входит в соприкосновение с *индивидуальным*.

Н. К. Михайловский не угадал значения и значительности русского декадентства. Ему казалось, что на Западе естественно появление декадентов, ибо там они — плод давней культуры и буржуазного общества, утомленного этою давнею культурою, а в России как будто и нет почвы для этих махровых и ядовитых поэтических цветов⁷. Ошибка Н. К. Михайловского, как и всей нашей средней интеллигенции, заключалась в том, что он не дооценил или — даже вернее — проглядел огромную культурную работу, совершенную народом в двухсотлетний императорский период русской истории. Его взгляд был прикован к серой угнетенной неграмотной мужицкой деревне, и эта неравномерность в распределении культурных ценностей не позволяла ему беспристрастно взглянуть на те сокровища, которые накоплены были в течение двух столетий на вершинах русского общества.

Печальный разрыв между утонченностью образованных классов и стихийною первобытностью народа больно задевал нравственное чувство и нравственное сознание. Но этим не умалялась, однако, огромность Пушкина, Толстого, Достоевского, Глинки, Александра Иванова, гениальных наших зодчих и Примеча-

тельнейших наших мыслителей — хотя бы того же Константина Леонтьева или Владимира Соловьева. Огромности нашей культуры не заметил Н. К. Михайловский и потому естественно не понял и декадентов наших, явившихся правомочными наследниками Гоголя, Лермонтова и Тютчева. С легкой руки Михайловского утвердилось в русском интеллигентном обществе непонимание декадентства. Но, кажется, пора уяснить себе, что недаром появились эти люди и что их появление не случайно совпало с падением империи и с действительным кризисом русского национального сознания.

II

Связь и зависимость такого явления, как декадентство, с революцией постепенно выяснились для самих декадентов в течение знаменательного трехлетия от 1903 до 1906 года. Правда, не для всех декадентов эта зависимость была очевидна. В московском кружке поэтов, объединившихся вокруг журнала «Весы», процветал довольно невинный эстетизм, и этим все дело ограничивалось. Зато в Петербурге, вокруг журнала Д. С. Мережковского «Новый путь», а потом вокруг «Вопросов жизни» собрались более проницательные люди, уразумевшие смысл событий и свое место в мире. Эти люди прислушивались чутко к грядущей буре. Они понимали, что кто-то «поет и насвистывает», что это «прелюдия ко дню восстания из мертвых»⁸.

К этому времени относится появление моей брошюры «О мистическом анархизме». Брошюра эта, неудачно, неосновательно и торопливо написанная, не заслуживала бы вовсе внимания, и я не решился бы напомнить о ней, если бы ее судьба не была примечательна. Судьба ее была примечательна тем, что она вызвала необычайно страстную полемику. Ее все старались осмеять — все: и декаденты, и провозвестники «нового религиозного сознания», и славянофилы, и марксисты, и народники. Как это ни странно — в течение трех лет на страницах журналов, газет, сборников и книг появлялись все новые и новые статьи и заметки с сердитыми и ядовитыми выпадами против злополучной брошюры и ее автора. Не спасла брошюры и обстоятельнейшая вступительная статья такого почтенного, значительного и ученого писателя, как Вячеслав Иванов⁹. Poleмику перенесли даже за границу, на страницы «*Mercure de France*»¹⁰. В чем же дело? В те дни я не отдавал себе ясно отчета в причине этого неожиданного литературного вихря, возникшего вокруг

моей брошюры. Теперь, когда мне довелось написать девятнадцать иных книг, я хладнокровно, со стороны, могу посмотреть на этот эпизод моей биографии и понимаю, что причина запальчивой полемики — в самой теме этой брошюры. Неопытный автор слишком громко, неосторожно и поспешно произнес такие слова, какие у многих были на уме, — это слова о кризисе декадентства, о зависимости этого явления от критического периода русской и, может быть, европейской культуры, о динамике религиозного творчества.

В защиту автора можно сказать только одно — он вовсе не претендовал, как ему приписывали, на провозглашение какого-то нового миропонимания. В брошюре было точно сказано: «мистический анархизм не является законченным мирозерцанием» — и в другом месте опять: «мистический анархизм не есть цельное мирозерцание, замкнутое в себе: он является лишь путем к религиозному действию». Но — увы! — этих слов никто не расслышал. И все торопливо, с недоброю иронией, истолковали мистический анархизм как проповедь «*анархического мистицизма*», т. е. как проповедь какого-то бесформенного, безрелигиозного, темного, демонического мистицизма, — обвинение в самом деле тяжкое. Обвинение это было тем более жестоко, что в событиях самой жизни и в явлениях культуры в те дни такой темный анархический мистицизм воистину торжествовал. Это была правда, а не выдумка. Тогда дьяволы сеяли семена бури, а теперь мы собираем эту дьявольскую жатву.

III

Декадентство не только литература. Декадентство за пределами какой угодно эстетической категории. Декадентство даже за пределами психологизма. В нем есть своя первичная сущность. Декадентство есть прежде всего своеволие, отъединение, самоутверждение, беззаконие. В мистическом анархизме эта тема бунта, этот внутренний мятеж самоопределяющейся личности, нашла свое предельное выражение, но естественно, что в нем же раскрылось и другое положительное начало. Идея, доведенная до своего предельного развития, вызывает антиномически иную идею, прямо противоположную. Так и мистический анархизм предопределял кризис декадентства. В нем намечалось утверждение личности в общественности. Из «непримиримого Нет», по слову поэта, рождалось «слепительное Да»¹¹. Это была попытка выяснить, что декадентский бунт есть мнимый бунт, ибо понятие бунта предполагает идею личности, а лич-

ность не может себя утверждать одиноко в своей оторванности от мира. Личность может осознать себя лишь в единстве, найти себя в том едином чуде, без которого весь мир распадается на зеркальные осколки множественности и хаотического беспорядка. Возможную гармонию мира нельзя обрести вне христианства или помимо христианства, как единого чуда нельзя разгадать, не увидев Христова лица.

Вот этого последнего исповедания и не заметили критики «мистического анархизма», и, быть может, в этом повинны были не столько они, сколько сам автор, двусмысленно называвший себя Никодимом, ночным учеником Учителя¹².

Я позволил себе напомнить о мистическом анархизме (не о брошюре моей, а прежде всего о самой теме и принципе), потому что в наши дни все русское общество, включая сюда фабричный город и нашу деревню, как бы распалось на мельчайшие атомы. Декадентское своеволие, отъединение, обособление, эгоизм — все это стало вдруг характернейшей чертой русского человека. То, что пятнадцать-двадцать лет тому назад было особенностью утомленных культурой одиноких эстетов, стало вдруг достоянием всякого фабричного рабочего, крестьянина и полупросвещенного мещанина. И дело тут не только в грубейшем и жадном эгоизме, а во внутренней злокачественной идее, что «все позволено», что нет никаких святынь, нет норм, нет законов, нет догматов, что на все «наплевать». Это уж, конечно, не мистический анархизм, а самый подлинный *анархический мистицизм*, то есть идея бунта и своеволия, доведенная до предельной бессмысленности, до темного и зловещего идиотизма. Мистика, область непознаваемого и тайного, раскрывается, как черная яма, как зияющая могила, когда человек, забыв о Христе, разгуляется так вовсю. Бедняга не замечает, что он идет по жердочке над бездною и что слабый порыв ветра сдует его, как соломинку, в эту самую яму, на великую радость бесовской силе.

Все эти мысли имеют прямое отношение к темам, затронутым Вячеславом Ивановым в его книге «Родное и Вселенское» и Александром Блоком в его статье «Интеллигенция и Революция».

IV

Воистину Вячеслав Иванов может сказать про себя словами Пушкина: «Погиб и кормщик, и пловец — лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою»¹³. Как таинственный пе-

вещ Пушкина, он остался невредим в дни падений и отчаяния, когда «вихорь шумный» опрокинул наш утлый челн, на котором свободолюбцы мечтали доплыть до желанного маяка. Поэт остался невредим, целен и верен себе, и будущий внимательный историк с изумлением засвидетельствует, что величайшие потрясения — государственное, общественное, моральное — нисколько не понудили поэта изменить свое мироотношение. Правда, если сравнить идеи, высказанные Вяч. Ивановым в 1906 году, в те дни, когда он писал о «мистическом анархизме», с его мыслями, опубликованными теперь, в дни террора, мы заметим известную разницу — но лишь в интонациях, в ударе психологическом и, быть может, в напевности речи: сущность его упований остается неизменной.

Он по-прежнему приветствует дух истинной революции, усматривая в ней порыв к запредельному; утверждает вместе с тем, в противовес уклонам в хаос непросветленных бунтарей, идею соборности; верит неизменно в своеобразную историческую миссию славянства; не потерял надежды на возрождение великодержавной России и даже — к немалому соблазну черни — не сомневается в том, что Константинополь «рано или поздно» все же будет наш, как пророчествовал Достоевский.

Нельзя не отметить, что книга Вячеслава Иванова посвящена «вечной памяти Федора Михайловича Достоевского». Это посвящение — не случайно. В существе своем концепция поэта-философа является последовательным и проникновенным комментарием к пламенным и пророческим заявлениям Достоевского.

В сущности, книга Вячеслава Иванова — это апология того миросозерцания, которое уже не вмещается в круг славянофильских идей собственно, но вместе с тем не порывает связи с этой идейной традицией. Поэта сближает с славянофилами его понимание идеи «Святой Руси», его чувство России, как живой и таинственной личности, но он, вместе с Достоевским храня свою тайную любовь, уже отказывается от славянофильской исключительности во имя начала вселенского, всемирного.

И, пожалуй, только одна идея Вячеслава Иванова на первый взгляд противоречит миросозерцанию Достоевского. Это — идея оправдания революции. Мы слишком привыкли видеть в Достоевском зоркого изобличителя и грозного обвинителя наших бунтарей-коммунистов, и при поверхностном отношении к этой теме мы естественно недооцениваем тех идей величайшего нашего прозорливца, которые по существу революционны и воис-

тину являются идеями мистико-анархическими. Вячеслав Иванов не только разгадал Достоевского-бунтаря, Достоевского-мятежника, но и всю свою теорию революции построил на идее «неприятя мира», то есть на излюбленной идее автора «Бесов» и «Карамазовых».

В этом первостепенная заслуга мудрого поэта.

Революция, явленная ныне в такой ужасной, а иногда позорной личине, не понудила Вячеслава Иванова отказаться от признания и в ней вечной правды.

Поэт не отказался от уверенности, что за мглою Вельзевула надо прозреть Христово лицо, надо почувствовать тот праведный порыв к истине и свободе, который в это смутное время «очищает распутное племя».

Не весна ли в подполья пахнула?
Не Судьи ль разомкнула труба
Замурованных душ погреба?¹⁴

Но это признание революции вовсе не исключает решительного отрицания революционной бесовщины, в которую выродилось праведное восстание против ветхого порядка. В своей книге Вячеслав Иванов с достаточной зоркостью следит за шулером-бесом, который на глазах простецов передергивает карты. Игроки давно потеряли головы, а наглый банкомет продолжает брать ставки наверняка.

Вячеслав Иванов обличает шулера и провокатора, который приготовил свою революционную колоду карт в берлинской «экспедиции заготовления государственных бумаг».

Революция потеряла свой ритм, свою музыку. Началась дикая какофония измены и предательства. Началась истерика. «Массы слепы, доверчивы, как дети, и легко могут быть доведены до отчаяния; истерике естественно обернуться жаждой изнасилования»¹⁵. Таков предостерегающий голос поэта.

V

Если Вячеслав Иванов остался верен тем началам «мистического анархизма», о котором он заявлял двенадцать лет тому назад, то Александр Блок остался по-своему верен своему мироотношению, которое я не могу иначе определить, как «анархический мистицизм»¹⁶.

«Ученические годы» и «годы странствий»¹⁷ ничего не изменили, по-видимому, в душе изысканного лирика по существу. Только этим безответственным лиризмом приходится объяс-

нять и оправдывать содержание и, так сказать, интонацию его статьи «Интеллигенция и Революция». Какая это старая песня! Какая монотонная в своем барственном «со стороны»! Чуть ли не на каждой строчке милый поэт склоняет слово «революция», чуть не в каждом столбце поет ей гимн. Но знает ли он, что такое революция? Едва ли. За прекрасным и светлым ангелом революции всегда петушком бежит мелкий бес, кривляка и обезьяна. И если этот спутник революции оттолкнет светлого духа и объявит себя вождем и руководителем, то прощай *музыка*, о которой мечтает лирик.

А что, если за этой бесовской какофонией в самом деле издали звучит симфония? Не ее ли услышал наш поэт? Быть может, это даже не симфония, а *музыкальная драма*? «Я знаю, что говорю». Да, эту музыку ведет великолепный оркестр. И этот театр я вижу и слышу, несмотря на глупенькую и похабную частушку, которую горланит сейчас пьяная чернь у меня над ухом. Я слышу сложнейший контрапункт, превосходные речитативы и дерзновенные фанфары. Только это вовсе не музыка революции, как думает Блок.

Это — Вагнер¹⁸.

Я понимаю, что можно быть вагнерианцем, но зачем же путать правду с неправдой и воинственные патриотические измышления черного мага Германии выдавать за нашу русскую песню! Наша Русь умела петь дивные песни и — верю — не разучилась их петь.

Но, если строгую красавицу опоили зельем негодяи и она — пьяная — запела, надрываясь, гнусную и бесстыдную частушку, я не стану обманывать ни себя, ни другого.

Революция — не идиллия. Это верно. Но революция должна быть верна самой себе. В эти дни революция себе изменила. И тот мерзостный кабацкий мотив, который звучит сейчас в доме свиданий, названье коему «Брест-Литовск»¹⁹, я не могу по совести назвать симфонией революции. Это клевета на революцию. И это прекрасно сознают все честные революционеры и прежде всего ветераны революции, — ну а революционные *parvenus*²⁰ — те, конечно, обделывают свои делишки. Им все равно. Им наплевать.

Александр Блок — романтик и лирик. Бог простит ему его заблуждение. Но его безбожным товарищам по «интернационалке»²¹ нет оправданья. Блок только бессознательно выразил сущность «анархического мистицизма», того мутного хаоса, который ныне торжествует на обширнейших равнинах обманутой России.

Но говорят, что «красный призрак коммунизма гуляет по всей Европе». Так ли это? Возможно, это такой призрак в самом деле совершает свою прогулку из Циммервальда в Киенталь и обратно. Возможно, что он время от времени появляется то на пороге *chambre des députés*²², то еще где-нибудь. Но призрак — увы! — только призрак. Пусть его вызывают медиумы Смольного и спириты «интернационалки». Но живая история и всемирная революция, слава Богу, не спиритический сеанс.

28 января 1918 г.

